КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Михаил Салтыков-Щедрин

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Рассказы и сказки



#эксмодетство

Премудрый пискарь. Рассказы и сказки

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Аннотация
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Премудрый пискарь
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
Дикий помещик
Премудрый пискарь
Самоотверженный заяц
Бедный волк
Верный Трезор
Соседи
Здравомысленный заяц
Баран-непомнящий
Ворон-челобитчик
Карась-идеалист
Медведь на воеводстве
Коняга
Добродетели и пороки
Орёл-меценат
Пропала совесть

Аннотация

В сборник рассказов и сказок Михаила Салтыкова-Щедрина вошли его известные произведения "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь", "Карась-идеалист", "Орёл-меценат" и другие, входившие в сборник "Сказки для детей изрядного возраста". Сатира Салтыкова-Щедрина не теряет актуальности и в наше время.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Премудрый пискарь

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил



Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал, — вижу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что́ же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слёзы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — поди́те вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдёмся; может быть, что-нибудь и найдём.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если

хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил ещё в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошёл один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришёл генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашёл генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! Еды-то! Еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

— Да вот нашёл старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растёт? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала её изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как всё это сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки,

поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наобо-

рот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, ещё производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

— Тьфу!

Одним словом, о чём ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это ещё более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву[9] на этом волшебном празднике. Тут была и "шекснинска стерлядь золотая", и питомец лесов кавказских, — фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества

---

[9] Примечания: 9
Свидание (от фр. rendez-vous).

внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочёл:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же… мужика?

— Ну, да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрёпанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навёл их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него, — небось и ухом не ведёшь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потёр их друг об дружку — и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадёшь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твоё усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру верёвка была готова. Этою верёвкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убёг, а

сами легли спать.

Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» повествуют…

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соску-

чились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Ещё как жалко-то! Особливо, как четвёртого класса, так на одно шитьё посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на верёвке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему

своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребёт да гребёт, да кормит генералов селёдками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да весёлые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли

— того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

Дикий помещик



В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награждён! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днём не убывает, а всё прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня всё добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сём случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредёт — сейчас её, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету

в господском лесу соберётся — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим, — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слёзную молитву сиротскую, и не стало мужика на всём пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча чёрная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пре-

чистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу своё тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актёру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актёрок с собой привози!»

Послушался его актёр Садовский: сам приехал и актёрок привёз. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подаёт?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актёрок увёз.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я всё гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю!

Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы, — стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришёл их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошёл к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрёшь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьём кой-каким питаюсь, да вот пряники ещё покуда есть…

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что́ может сделать истинная твёрдость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит

— всё у него выходит, всё выходит! Не осталось в нём даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твёрдым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И всё думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё па́ром да па́ром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведёт: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там всё, как он задумал, всё точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладёт! Думает, каких он коров разведёт, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко! Думает, какой он клубники насадит, всё двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдёт к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело…

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе

до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твёрдость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны ещё веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твёрдый курицын сын у вас в уезде завёлся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твёрдым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра…

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит… и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелёгкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это… не знаю… я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может?

— Я что ж… я готов! рюмку водки… я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже

на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдёт. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперёд по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твёрдость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдёт, всё, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадётся к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш… — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли ещё будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошёл медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился… и заплакал.

Однако твёрдость души всё ещё не покидала

его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнёт растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста ещё не приобрёл.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил своё тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережёт оттуда. Прибежит, это, заяц,

встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела, соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвёт её ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силён ужасно, до того силён, что даже счёл себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь, — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет

невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берёте!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

Премудрый пискарь



Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы[1] веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернётся — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешнёй пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и наконец… уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты…

---

[1] Примечания: 1

Аридовы (аредовы) веки — выражение, означающее долголетие.

Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчёт уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в неё вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счёт потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали

крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут ещё поддают… Слышит — «костёр», говорят. А на «костре» на этом чёрное что-то положено, и в нём вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котёл», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котёл» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунётся, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунётся — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастёт!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чём она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поуче-

ния пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал он себе, — а не то как раз пропадёшь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчёт житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днём — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нору

и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернётся на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна,— глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает.

И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашёлся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьёт, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили;

думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а ещё раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живёт...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевёлся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него её нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены её были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо

только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчётливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезука я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нём? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит,

сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможднный, никому не нужный, лежит и ждёт: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придёт: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешнёй не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьёт, никого не видит, ни с кем хлебасоли не водит, а всё только распостылую свою жизнь бережёт?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и

дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шёпоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешнёй перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же ещё и премудрого?

Самоотверженный заяц



Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а ещё пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе моё решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас ещё дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть… ха-ха… я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнётся. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и ещё того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат… А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь.

Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждёт, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим… слюбилась… А может быть, и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут её волк… и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлёбывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит… Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осуждённый, и сердце его на

части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы её, серенькую заиньку, передними лапками за ушки, и всё бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осуждённый на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем всё видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешёптывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осуждённый.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего… так, промежду себя… землячок проведать меня пришёл! — лепечет осуждённый, а сам так и мрёт от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чём дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат, — сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм… это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено…

— Я, ваше благородие, прибегу… я мигом

оборочу… у меня это… вот как бог свят прибегу! — заспешил осуждённый, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть… ха-ха… и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он её «на уру» возьмёт; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть…

Даже птицы быстроте его удивлялись, — говорили: «Вот в "Московских ведомостях" пишут, будто у зайцев не душа, а пар — а вон он как… улепётывает!»

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить наречённого зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тётки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то

ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тётки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всём нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев ещё того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня… ха-ха… и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше

заяц шутя переплыл, вздулась и на десять вёрст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь вёрст на сто обогнуть… А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умён был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нём так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон ещё сколько бежать осталось! И всё-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятёк на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом — и ещё шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — всё ему нипочём! Сколько раз сердце в нём разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слёз; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг всё кругом затихло, словно помертвело. А косой всё бежит и всё одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнём брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шёпот пошёл, слышнее, слышнее… А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот, наконец, гора. За этой горой — болото и в нём — волчье логово… Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы… вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения… неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьёт шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьёт в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом

от удовольствия замахал. Вот он подошёл к аманату, сгрёб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щёлкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас… ха-ха… помилую!

Бедный волк



Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достаётся. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее — сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да ещё с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страху да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его ещё тоскливее подвывает, потому что у неё волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк!

убийца! душегуб!» И бежит он вперёд да вперёд, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу — баба-то и о сю пору слёз не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось… И баба воет, и он воет… как тут разберёшь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьём-то он его бьёт, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! — только и раздаётся про волка в деревнях, — последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьёшь-то его, так проку от него нет. Мясо — негодное, шкура жёсткая — не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешишься, да на вилы живьём поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить — вот в чём его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовёт злодеями тех, которые его преследуют,

увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живёт — только и всего. Лошадь — тяжести возит, корова — даёт молоко, овца — волну, а он — разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все «живут», каждый по-своему.

И вот нашёлся, однако ж, между волками один, который долгие веки всё убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день и ночь он разбойничал, и всё ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унёс. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да и только лютей и лютей от этих покоров становился.

— Послушали бы, что́ в лесу-то делается, — говорил он. — Нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, — так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев,

до тех лет, когда волк уж «матёрым» называется. Отяжелел маленько, но разбои всё-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть — с души сопрёт, ежели так задавить да бросить — только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянётся он вперёд не разбойничать — я его отпущу».

— Волк, а волк! — молвил Топтыгин, — неужто у тебя совести нет?

— Ах, что вы, ваше степенство! — ответил волк. — Разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

— Стало быть, можно, коли ты живёшь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал — разве это на совесть похоже?

— Ваше степенство! позвольте вам доложить!

должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счёт резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч, — видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

— Должен, — говорит.

— А ведь я, кроме мясного, — ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчёл позаимствуетесь, и овсеца пососёте, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето — нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И всё об мясце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако всё ещё попытать хочет.

— Да ты бы, — говорит, — хоть полегче, что ли…

— Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица — та зудит: рванёт раз — и отскочит, потом опять рванёт — и опять отскочит… А я прямо за горло хватаю — шабаш!

Ещё пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его всё ещё опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

— Раскайся, волк! — говорит.

— Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чём же тут моя вина?

— Да ты хоть пообещай!

— И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса — та вам что хотите обещает, а я — не могу.

Что́ делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

— Пренесчастнейший ты есть зверь — вот что я тебе скажу! — молвил он волку. — Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал — и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом

в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошёл, да тот, по счастию, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а всё-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем — а ног-то уж нет. Подойдёт к лесной опушке, овечку из стада попробует унести — а собаки так и скачут-заливаются. Подожмёт он хвост, да и бежит с пустом.

— Никак, я уж и собак бояться стал? — спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнёт выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет — страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягнёночка и волочёт его за шиворот в лес. А ягнёночек-то самый ещё несмыслёночек был: волочёт его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

— А я вот покажу тебе, что́ такое… мммерррзавец! — остервенился волк.

— Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! — вдруг догадался ягнёночек и не то заблеял, не то зарыдал: — Ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своём веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет её волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнётся, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш — а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, — стар-стар, а всё бы годков ещё с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь — благо, а для него она — проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягнёнка, а сам побрёл, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лёг он плашмя на землю и никак улежать не мо-

жет. Ум — одно говорит, а нутро — чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то всё-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остаётся, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь — ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живёт он словно во сне, и умрёт — словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведёт — и дух вон. А откуда и как пришла смерть — он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведёт… Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня — только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим,

несправедливо его проклинают, нерезонно: не своей волей он разбойничает, — но как не проклинать! Сколько он зверья на своём веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он всё чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И всё-таки, мучимый голодом, шёл на добычу, душил, рвал и терзал…

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» — день и ночь выл он, на небо глядючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши», и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своём логове и слышит — зовут. Он встал и пошёл. Видит: впереди путь вехами означен, а

сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шёл, опустив голову, навстречу смерти…

И вдруг его ударило прямо между глаз.

— Вот она… смерть-избавительница!

Верный Трезор



Служил Трезорка сторожем при лабазе[2] московского 2-й гильдии купца Воротилова и недрёманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодёрки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал: с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules![3]

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а всё на чужих. Пройдёт, бывало, хозяйский кучер овёс воровать — Трезорка хвостом машет, думает: «Много ли кучеру нужно!» А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка ещё где заслышит: «Ах, батюшки, воры!»

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Цены этому псу нет!» И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно… хам… ам… ам… ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка воззрился. Такой содом

---

[2] Примечания: 2
Лабаз — хозяйственная постройка, товарный склад.

[3] Примечания: 3
Пусть консулы будут бдительны! (лат.)

поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас пёсик, Никанор Семёныч! благонамеренный!

— Такой пёс! такой пёс! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признаёт; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот по-пёсьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне своё имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шёл!), выбрал ночь потемнее и пошёл в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял, — думал этим его соблазнить, — а Трезорка корочку обнюхал да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке

бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублёвую бумажку замасленную — думал, на деньги пёс пойдёт; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пёс на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха; и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью всё-таки погромыхивает: «Вот он я!» Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, —

рассуждал он, — и за дело бей, и без дела бей — вперёд наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пёс с принципами и так высоко держал своё знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдём, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдём, глупый! мы тебя потихоньку… никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмёт Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: «Поднесёмте Трезорке альбом с видами Замоскворечья»; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, — сказал он. — На этом дворе я родился, на нём же и старые кости сложу — каких ещё видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку креп-

ко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому её на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своём веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на неё не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно

и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: «Mea culpa! Mea maxima culpa![4]»

В сущности, он был слишком умён, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он, всё равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна. — Знашь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семёныч. — Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нём проснулось что-то вроде че-

---

[4] Примечания: 4
Мой грех! Мой тягчайший грех! (лат.)

столюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что? — сказал он Рохле с горечью. — Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даёшь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтобы хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio[5], день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, — а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак. Что он, стало быть, награждён уже изначала, награждён ещё в то время,

---

[5] Примечания: 5
по собственному побуждению (лат.).

когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он её однажды ужо порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал её к Трезоркину ошейнику. «Лай, Трезорка, лай!»

И залился он тем добродушным, заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени, не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силён сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы своё первенство в деле непреоборимости.

Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости… Но увы! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодёрку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: «Вот мой преемник!» Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для неё нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или

недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала,

слаба стала? Ну, ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелёгкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приёмам подлинного купеческого пса… Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка всё больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно

ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семёныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились… Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозлённая и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросёнка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил, — сказал купец Воротилов с чувством, — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть… Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка

от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загривок.

Что затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

Соседи



В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семёнычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я ещё ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пустом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнёт Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно на свете деется, — молвит он, — который человек постоянно в трудах находится, у того

по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: «С чего бы это?» — да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привёз дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнёт и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдёт спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснётся — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли, — молвит Иван Богатый, — и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо, — ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты… не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без

хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я её одобряю, — ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это, действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной…

— Что ты! что ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: «Пойду, мол, и отдам пол-имения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а назавтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом…

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позёвывать. А между разговором Иван Богатый всё-таки думу думает:

«Что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были?» Думает-думает, да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет. — Теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу, — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпёж ему стало. «Пойду, — говорит, — к самому Набольшему, паду перед ним и скажу: "Ты у нас око царёво! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза одинаково свободны были!"»

И как сказал, так и сделал. Пришёл к Набольшему, пал перед ним и объяснил своё горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Ска-

зал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был, и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несёт, а другой песенки поёт — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в своё село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному, — своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжёлый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежедень убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на тёплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — всё вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унёс. И всё время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щёки уписывает!»

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник[6], а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнёт, и боронует, и сено трясёт, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и всё-таки пустые щи не сходят у неё со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорил бедняга жене, — вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с

[6] Примечания: 6

Осьминник — участок земли, засеваемый осьминой (полчетвертью) зерна.

Иваном Богатым, а мы всё при прежнем интересе находимся. Живём богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и всё оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на тёплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там всё налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так

из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить всё своё право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и всё-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: «С чего бы?» — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашёл причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семёныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнёс блестящую речь о пользе общественного и частного почина… Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно

бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя зараньше обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, всё, что в азбуке-копейке вычитал, всё так и выложил пред слушателями.

Результат превзошёл все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот тёмный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров

азбуки-копейки, сказав: «Читайте, други! тут всё есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на тёплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию азбуки-копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошёл год, прошёл другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришёл чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадёжностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: «С чего бы это?» — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого;

но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для неё был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга[7] такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться.

Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозо́фу Ивану Простофиле.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умён, как поп Семён, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха[8] — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше

---

[7] Примечания: 7
С первого абцуга (устар.) — сразу.

[8] Примечания: 8
Посулит Простофиля красного петуха… — то есть предскажет пожар.

крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в плантý так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадёжно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть, — пояснил Простофиля, отчётливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, — и в оном планту значится: живёт Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течёт всё мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живёшь у самого стека, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены

крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.

Здравомысленный заяц



Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.

— Всякому, говорит, зверю своё житьё предоставлено. Волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье. Доволен ты или недоволен своим житьём, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят — кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции всё равно не будут есть, а сколько надо — непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать.

— Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой, посмотри на поляну

— то и дело, что зайцы вдоль и поперёк сигают. Заберёмся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, — пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придётся. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…

Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнёт — и всё у него хорошо выходило. И что всего дороже — ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всём рассудить. Дескать,

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов…

Вот, мол, у нас как!

Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками

штуки-фигуры выделывает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.

— Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим вёрст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: «Кто песни пел?..» Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть — в другом месте пиво вари; не успел — съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?

— Коли не врёшь, так правду говоришь, — ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у неё на глазах напрасною смертью погибли.

— Подлый народ эти волки — это правду надо сказать. Всё у них только разбой на уме! — продолжал заяц. — Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: «Господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали — он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередом

пришли: "Господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить?" — "С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных!" И шло бы у нас всё по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны… ах, господа, господа!»

Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалечку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползёт на него, словно поиграть с заинькой собралась.

— Вон ты какой, заяц, умный! — первая заговорила лиса. — Так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и всё бы слушать хотелось!

Умён был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: «Вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на своё положение взглянуть…»

— Голодна, тётенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робеть.

— И! что ты! господь с тобой! да я пресытехонька! разве потом что будет, а теперь — и боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоров!

Села лиса по-собачьему и заиньку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и всё сам с собой рассуждает: «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю своё житьё: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житьё!»

А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да, знай, заиньку похваливает.

— И откуда ты к нам, такой филозóф, пожаловал?

— Недавно я, тётенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своём месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и всё такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омёте припеваючи прожили: днём спим, а ночью кленков да яблонек погрызём. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омёт волк пожаловал. «Какие такие звери? по какому виду? с чьего разрешения?..» Я-то, признаться, убёг, а зайчиха с зайчатами…

— Слышала я об этом. Волк-то мне кумом при-

ходится, так сказывал. «Намеднись, говорит, я целое заячье гнездо разорил, а заяц убёг, так как бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он — он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Уж и не помню. Вижу, что надо бежать, — и побежал. Прибежал, смотрю — зайчиха-вдова сидит: «Давай, мол, вместе жить!» И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.

— Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы её изымем!

Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь ведь солнце-то жарит, — лениво пробормотала она, — словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.

Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчётом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.

— Я, тётенька, не привередлив, — говорил он, — я всячески жить согласен. И трёх лет ещё нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обе-

гал. Только что в одном месте оснуёшься — глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и не понимаючи всё-таки бегу. Всё одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него — тук-тук! «Ступай, дядя Михей, с подводой!» На дворе метель, стыть, лошадёнка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прёт двадцать вёрст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привёз, жене — платок на голову, всем вообще — слёзы. Спроси его: «Что сие означает?» — он тебе ответит: «Означает сие мужицкую жизнь». Так-то и мы, зайцы. Жить — живём, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы… Так ли я, тётенька, говорю?

Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на неё: «Не спит ли, мол, тётенька?» Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стречка дать? — Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако хотя лиса не только глаза зажмурила, но

легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьём догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.

— Расскажу я тебе, — продолжал он, — как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат ещё махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зорю отбить — на всё дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоём по базарам, представленья показывают, а им — кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, Христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие своё дяде рассказывал. «Жил я, говорит, в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попеваю, трубочку покуриваю — вдруг десятский на двор: "Ступай, Семён, в волостную, тебя в солдаты требуют". Я, в чём был, в том и ушёл; хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушёл, да двадцать лет после того и пропонтировал. А через двадцать лет воротился в своё место — ни кола, ни двора, чисто!..» Так вот оно, — прибавил рассудительно заяц, — мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он — мужик, а сейчас — солдат, и то, и другое житьём называется. Так-то вот и с нами,

зайцами…

— Неужто ж и вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась.

— Нет, нас едят, — ответил заяц как можно веселее.

— И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков «негодницей» звал. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?

— Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришёл домой, а заячьей работы работать не может — отвык. И тётка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: «Пойду в селе на базар, буду комедии представлять». Да только что зачал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать — его собаки и разорвали!

— И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и зараньше знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?

— В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться…

Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и обробел; однако лиса отгадала его мысль.

— Вот ведь ты кровопивец какой! — укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.

— Ах! — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился. — Это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые.

— Ой ли?

— Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь… Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.

Лисица на минуту задумалась и щёлкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала,

встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?

Умён был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло: «Вот оно, заячье-то житьё… начинается!» — но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.

— Не знаю, — ответил он.

Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжёт, что лиса не на шутку рассердилась.

— Вот ты какой лгун! — сказала она. — Мне про тебя и невесть чего наговорили: и филозóф-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный, плохой зайчонко! Тебя буду есть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чём не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.

— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.

— Час от часу не легче! — ещё пуще рассердилась лиса. — Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним

небом живём, чтобы в помилованья играть… а?

— Ну, тётенька, примеры-то эти бывали! — настаивал заяц, всё ещё хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.

Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик, «вышнего града взыскуя»; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да благо в ту пору Великий пост был, мужик-от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любушек, как он вместе с ними зайчат зоблил и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил:

— Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку ещё пожить!

А лиса тем временем и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко, — сказала она, — я ведь думала, что ты в самом деле филозóф, а тебя между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперёд, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гадёнка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя

не поймала. Успеешь улизнуть — твоя взяла; не успеешь — сейчас тебе резолюция готова.

— Ах, тётенька, где уже мне!

— Глупый! ежели и не улизнёшь, так всё-таки время проведёшь. Делом займёшься, потрафлять будешь — ан тоски-то и убавится. Всё равно, как солдат на войне: потрафляет да потрафляет — смотришь, ан и пропал!

Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным всё-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всём скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.

«Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! — соображал заяц и машинально прибавил: — А может быть…»

— Ну, эти фантазии-то ты оставь! — предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове. — Ты лучше уж без фантазий… раз, два, три! господи благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперёд, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он

не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо неё.

Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и ещё на четыре сажени вперёд отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от неё. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, всё видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса всё-таки была по-своему права: у зайца, действительно, нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.

Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погружённым в созерцание своего заячьего дела.

— Ну, теперь давай, заяц, играть! — предложила лисица.

Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: «Не простить ли, мол?» Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что

ежели он и не оборонялся взаправду, то всё-таки лапками закрывался, верезжал…

Но через четверть часа всё было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю своё житьё: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

Баран-непомнящий

Домашние бараны с незапамятных времён живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брэм



Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами приручённых баранов, и затем, через все века, баран проходит распространённым по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создаёт целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других — для сала, третьих — ради тёплых овчин, четвёртых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своём помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознаёт, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живёт. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что

проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подёрнутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нём, но никакого определённого очертания, ни одного живого образа…

— Овца! а, овца! что я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца. — Не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение умных баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чём он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем

его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон… Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеет:

— Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозóфом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее,

нежели «моветон».

С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определён на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал своё дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чём блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите, — как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадёжил их Никита, — завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шёлковый будет!

Однако расчёты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрёма уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьёзное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдёт мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шёл навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломлённый, чего-то, сдуру, искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог… Баран, да ещё меланхолик —

что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода…

По мере учащения снов, волнение барана всё больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее с течением времени, тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран, — очевидно, с предвзятым намерением, — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность…

В то же время он с каждым днём всё больше и больше чах и хирел, и наконец сделался до того

поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешёптываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нём. Все знали, что он честный и добрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастие, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, — как многие инстинктивно догадывались, — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки, — говорил он, — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрёт!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала тёплая, облитая лунным светом, июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне всё спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посерёдке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеянье вырвалось из его груди…

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пёс тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушёл в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов…

Ещё минута — и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мёртвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчён.

— И что за причина такая? — сетовал он вслух. — Всё был баран как баран, и вдруг словно его осе́тило… Никита! ты пятьдесят лет в овчарах

состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, — ответил Никита, — увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог… Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Всё равно, как из нашего брата бывает…

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту. — В другом месте из этого барана, может быть, козёл бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы… Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.

Ворон-челобитчик



Всё сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьёт. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют ворóны гурьбой берёзу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально, сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверьё угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало вороньё по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо ещё, что вороны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнёт он, старик, младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы ещё где до свету встанем, снимемся с гнёзд и весь лес обшарим — везде хоть шаром по-

кати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалого. Даже червь, и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица, без числа вороньё погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго вороньё эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чьё хочешь сердце изноет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и весёлый; не удастся — виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.

Когда принёс его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевять морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих

пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесёт воронёнка, завтра из другого, а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжёлые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнёзд по воронёнку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже всё изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заимки, потом деревни, сёла, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое вороньё с весёлым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вороньё разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь…

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутьё окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; вороньё оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того, чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот ужо, придёт реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Вороньё роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пущают. Много было тогда гнёзд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что вороньё, испугавшись, на хвосте дани принесёт. Но вороньё от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идёт: вороньё разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было вороньё новых местов искать и летунов вперёд для разведок отправило, но они улететь — улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идёт вперёд с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует

пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придёт.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывёшь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — Зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают… Мрёт вороний род, а кои и живы — и тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живём в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и всё им как с гуся вода, а ворона украдёт копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты ещё учишь: «Изворачивайтесь!» Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы…

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда бог ещё миловал… А ты всё-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся… Всё ли ты сказал?

— Всё покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, воронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрёстках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, — этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришёл! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет — но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас, что вздумается, то над нами и делает. Мы всё равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнёт, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только

знай перевёртываются. Каким таким манером случилось, что Губошлёпов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве тёмный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлёпов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, вороньё, потачки не даёте, — вспомни-ка! что если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: «Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!» Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли моё слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчёт принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнёзда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою;

только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать! погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный, и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А всё оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты ещё, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? — эти живут каждый сам по себе, их и днём с огнём не

отыщешь. Одно вороньё живёт обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житьё. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полёт к кречету.

«Будь, что будет, — думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, — а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил во впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему

самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но всё это благодушие оставалось при нём лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически приветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже всё известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик, — ну, да, впрочем, это твоё дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул во впадину и около часа там оставался. Ворон, с замиранием сердца, ждал его появления. Наконец он показался.

— Велено тебе сказать, — молвил он, — что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж… — хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон, облако, там, над самым этим облаком, — там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести своё челобитье до конца. Долгим и кружным путём взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изред-

ка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный замок, у подножия которого застыли облака, а наверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окружённый целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник; у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, учёные снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу с жару! по пятачку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако

появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его последний. — Докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам своё челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют… И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. «Наконец-то! — думалось ему. — Увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!» И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал всё, что у него было на душе, и замолк.

— Всё ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Всё, — ответил ворон.

— У ястреба, у кречета челом бил?

— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также своё неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что я тебе на твою правду скажу, — молвил коршун. — Больше двухсот лет я сижу на этом утёсе и хоть бочком да на солнце смотрю… Но Правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить её птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить её должен; а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на неё исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдёт!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте её слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не ворона — за хвост её не ухватишь.

Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идёт… Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придёт время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придёт и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.

Карась-идеалист



Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ёрш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ёрш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ёрш возражал:

— Вот ужо увидишь!

Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадёжности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходи-

мо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождём, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она даёт бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убеждён, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ёрш.

Ёрш спорил отрывисто и неспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у неё на сердце… ах, накипело! До ненависти покуда ещё не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчёт принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознаёт, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась, — и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, её породившие,

нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придёт, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нём говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс[10] и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ёрш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась. — Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ёрш, какие ты несообразные выражения

---

[10] Примечания: 10

Никсы — в немецких народных верованиях — русалки.

употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетённым, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ёрш.

— Не посрамлены ещё, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приёмы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хо-

да», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признаётся вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом ещё в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не всё равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасём зовётся, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперёд познакомиться. О чём же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь… заколю!

Ёрш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядыва-

ла, — объявлял ёрш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывает она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чём-нибудь виноват…

— Глуп ты — вот в чём твоя вина. Да и жирён вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я её до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ёрш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасём. Но через несколько дней,

смотришь, привычка опять взяла своё.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились… — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чём это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврётся, а тут головель неподалёку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредёт! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда…

Но тут ёрш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навострив лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки, того

гляди, не понимаючи, сболтнёт! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадёт!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьёзная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились…» А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это… — пробормотал он смущённо.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чём не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошёл. У ракушки не душа, а пар; её ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб её не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их

— сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком ещё поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьёзную пакость сделал — ну, тогда, конечно…

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил… Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это ещё бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: ино их съели, ино в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в кото-

ром они жили, было тихое, даже слегка зелёною плесенью подёрнутое, самое для диспутов благоприятное. О чём ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он, — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ёрш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своём карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах

воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Всё-таки…

— То-то «всё-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лёжа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще…

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя, за грубость, на сковороду, либо в золу в горячую… Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или ещё:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял

его ёрш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерёгся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчёта вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень

на это слово надеялся.

Даже ёрш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашёл в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждёт, чтобы её полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце её просветили? Может быть, она… добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмёт да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на неё карась и дивится: каких ему про щуку сплёток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умён и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам

во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм… и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною… карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то… съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а ещё ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А ещё ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмёшь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то ещё где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придётся!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это ещё когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, а ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо

поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки… от общих, взаимных трудов…

— Понимаю: «друг от дружки»… а между прочим, и от меня… гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, выше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю…» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щёлкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте…

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она ещё после вчерашнего

обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, ещё не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он всё ещё бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе моё такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нём загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защёлкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас

же опомнились и поспешили к щуке — узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее всё предвидел и предсказал, выплыл вперёд и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

Медведь на воеводстве



Злодейства крупные и серьёзные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чём бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно!»

За это Лев произвёл его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий

по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тёщу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя ещё не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улёгся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведёрко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили:

«Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошёл, и не раз он Ослу говаривал (Осёл в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умён был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспременно это должен быть внутренний супостат!»

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он, наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгрёб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно

так же в майорском брюхе сгниёт, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин, — меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» — а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии всё больше и больше будет отдалять его от прямой линии…

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней берёзы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на берёзу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопроли-

тиев от него ждали, а он Чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— Risum teneatis, amici![11] Чижика съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михаило Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи

---

[11] Примечания: 11

Возможно ли не рассмеяться, друзья! (лат.) Из послания Горация Пизону и его сыновьям («Наука поэзии»).

дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако всё-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утёк. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своём принципе с каждым днём всё больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдёт, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьёзным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осёл за него перед Львом предстательствует, а уж если Осёл кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей

административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Всё равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довёл… Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История… Но… Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Всё болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, — а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадёшь… с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминовении об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев её боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!»

История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История… а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осёл бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи вёрст прискакал, сколько прогонов и порционов извёл — и первым делом Чижика съел… ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык — все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же

цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, всё об одном думает: «Ах, что-то Осёл об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждёт. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осёл дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с мёдом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить…»

— Коли за этим дело стало, так я ещё репутацию свою поправлю! — молвил Михаило Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши всё это, сел, сукин сын, на корточки и ждёт поощрения. Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осёл, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно наОсловом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво Любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографии начал — быть бы ему теперь генералом.

II. Топтыгин 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тёзки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит всё будущее администратора. Поэтому, ещё до

получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была ещё менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осёл ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казённый ручной станок, который лесные куранты[12] тискал, но ещё при Магницком[13] этот станок был публично сожжён, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было ещё, что дятел на древесной коре, не переставаючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней

---

[12] Примечания: 12

Куранты — газеты (от голл. — courant).

[13] Примечания: 13

М. Л. Магницкий (1778–1855) — попечитель Казанского университета в последние годы царствования Александра I.

письмён, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времён.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать «similia similibus curantur»[14], но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, помре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка

---

[14] Примечания: 14
«Подобное подобным излечивается» (лат.).

разорил, а всё ему мало кажется. «Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство своё выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на неё ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рёв мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сём Осла Лев собственнолапно на одном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. — Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут… Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осёл ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы

найдёте в Лесном уставе».

Заглянул он в Лесной устав, но там обо всём говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже о шишках еловых, а о злодеяниях — молчок!

И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осёл отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» — и если б не вспомнилось, какая уйма подъёмных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобы на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приёмов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залёг. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтёт? добро бы Лев или Осёл — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю ещё какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!» Хохочет

Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится… Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в своё место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У них — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! Они — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что похоже! А всё Осёл! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чём нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рёв, только молвила: «Чу,

Мишка ревёт! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу…

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залёг, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу всё само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведённый порядок (хотя бы и неблагополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это всё-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит

из определённых ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае всё именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днём и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — всё представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да ещё «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осёл говорил:

— Об каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: laissez

passer, laissez faire![15] Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и всё у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а всё остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них… — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание[16]…

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем всё пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, мёду и даже сивухи, и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в бер-

---

[15] Примечания: 15

Позволять, не мешать! (*франц.*), предоставление со стороны государства полной свободы действий частному предпринимательству.

[16] Примечания: 16

Цитата из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя (1835).

логе многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвёл в подполковники, потом в полковники и наконец…

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

Коняга



Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком её одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными рёбрами и обожжёнными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошёл.

Худое Конягино житьё. Хорошо ещё, что мужик

попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнёт. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий просёлок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в посёлок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всём протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнажённые — они железным кольцом охватили деревню, и нет у неё никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идёт; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не

может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадёт, точно пространство само собой её засосёт.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет её на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припёке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по просёлку вихрами пыль, но ветер, который поднимает её, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может,

что всё нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то чёрные, то огненные, которые и стоят и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой всё дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдёшь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперёк, и всё-таки ему конца-краю нет. И обнажённое, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берёт в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймёшь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признаёт себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идёт колы-

шущееся чёрное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льёт на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз… Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление её жизни отражается на нём мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает о нём только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для неё он зачат и рождён, и вне её он не только никому не нужен, но, как говорят расчётливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живёт, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нём той мускульной силе, которая

источает из себя возможность физического труда. И корма и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несёт это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живёт, точно в тёмную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую даёт работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живёт, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками не наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрёлся, и там и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он, всё один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живёт в

нём, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идёт? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее… Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та тёмная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве ещё не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотёсанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотёсанность, долго обоих сыновей вёл ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овёс». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в тёплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и

пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи».

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живёт, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло тёплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живёт!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живёт; кормят его соломою, а он живёт! И в какую сторону поля ни взгляни, везде всё братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывёртывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нём есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нём от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибёшь, и живёт себе смирнёхонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга!

Делай своё дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл, это — нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашёл. Этот труд даёт ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвёртый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нём особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он всё жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нём нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывёртывать пошёл. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснётся мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займётся.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе, — смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится!

Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

Добродетели и пороки


ДОБРОДЕТЕЛИ
ПОРОКИ

Добродетели с Пороками исстари во вражде были. Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали; а Добродетели жили посерее, но зато во всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились. А втихомолку между тем думали: «Вот кабы и нам, подобно Порокам, удалось хорошенькое дельце обделать!» Да, признаться сказать, под шумок и обделывали.

Трудно сказать, с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал. Кажется, что Добродетели первые начали. Порок-то шустрый был и на выдумки гораздый. Как пошёл он, словно конь борзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в шелках по белу свету щеголять — Добродетели-то за ним и не поспели. И не поспевши, — огорчились. «Ладно, говорят, щеголяй, нахал, в шелках! Мы и в рубище от всех почтены будем!» А Пороки им в ответ: «И будьте почтены с богом!»

Не стерпели Добродетели насмешки и стали Пороки на всех перекрёстках костить. Выйдут в рубищах на распутие и пристают к прохожим: «Не правда ли, господа честные, что мы вам и в рубище милы?» А прохожие в ответ: «Ишь вас, салопниц, сколько развелось! проходите, не задерживайте! бог подаст!»

Пробовали Добродетели и к городовым за содействием обращаться. «Вы чего смотрите? совсем публику распустили! ведь она, того и гляди, по уши в пороках погрязнет!» Но городовые знай себе стоят да Порокам под козырёк делают.

Так и остались Добродетели ни при чём, только пригрозили с досады: «Вот погодите! ушлют вас ужо за ваши дела на каторгу!»

А Пороки между тем все вперёд да вперёд бегут, да ещё и похваляются. «Нашли, говорят, чем стращать — каторгой! Для нас-то ещё либо будет каторга, либо нет, а вы с самого рожденья в ней по уши сидите! Ишь, злецы! кости да кожа, а глаза, посмотри, как горят! Щёлкают на пирог зубами, а как к нему приступиться — не знают!»

Словом сказать, разгоралась распря с каждым днём больше и больше. Сколько раз даже до открытого боя дело доходило, но и тут фортуна почти всегда Добродетелям изменяла. Одолеют Пороки и закуют Добродетели в кандалы: «Сидите, злоумышленники, смирно!» И сидят, покуда начальство не вступится да на волю не выпустит.

В одну из таких баталий шёл мимо Иванушка-Дурачок, остановился и говорит сражающимся:

— Глупые вы, глупые! из-за чего только вы друг

друга увечите! ведь первоначально-то вы все одинаково свойствами были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы людской, добродетели да пороки пошли. Одни свойства понажали, другим вольный ход дали — колёсики-то в машине и поиспортились. И воцарились на свете смута, свара, скорбь… А вы вот что сделайте: обратитесь к первоначальному источнику — может быть, на чём-нибудь и сойдётесь!

Сказал это и пошёл путём-дорогой в казначейство подать вносить.

Подействовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороху для продолжения битвы недостало, только вложили бойцы мечи в ножны и задумались.

Думали, впрочем, больше Добродетели, потому что у них с голоду животы подвело, а Пороки, как протрубили трубы отбой, так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили!

— Хорошо ему про «свойства» говорить! — первое молвило Смиренномудрие, — мы и сами не плоше его эти «свойства» знаем! Да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят, а другие в затрапезе ходят да по целым дням не евши сидят. Иванушке-то с пола-горя: он набил

мамон мякиной — и прав; а нас ведь на мякине не проведёшь — мы знаем, где раки зимуют!

— Да и что за «свойства» такие проявились! — встревожилось Благочиние. — Нет ли тут порухи какой? Всегда были Добродетели и были Пороки, сотни тысяч лет это дело ведётся и сотни тысяч томов об этом написано, а он на-тко, сразу решил: «свойства»! Нет, ты попробуй, приступись-ка к этим сотням тысяч томов, так и увидишь, какая от них пыль столбом полетит!

Судили, рядили и наконец рассудили: Благочиние правду сказало. Сколько тысяч веков Добродетели числились Добродетелями и Пороки — Пороками! Сколько тысяч книг об этом написано, какая масса бумаги и чернил изведена! Добродетели всегда одесную стояли, Пороки — ошую; и вдруг, по дурацкому Иванушкину слову, от всего откажись и назовись какими-то «свойствами»! Ведь это почти то же, что от прав состояния отказаться и «человеком» назваться! Просто-то оно, конечно, просто, да ведь иная простота хуже воровства. Поди-тко спроста-то коснись, ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадёшь, что и голову там, пожалуй, оставишь!

Нет, о «свойствах» думать нечего, а вот компро-

мисс какой-нибудь сыскать — или, как по-русски зовётся, фортель — это, пожалуй, дельно будет. Такой фортель, который и Добродетели бы возвеселил, да и Порокам бы по нраву пришёлся. Потому что ведь и Порокам подчас жутко приходится. Вот намеднись Любострастие с поличным в бане поймали, протокол составили, да в ту же ночь Прелюбодеяние в одном белье с лестницы спустили. Вольномыслие-то давно ли пышным цветом цвело, а теперь его с корнем вырвали! Стало быть, и Порокам на фортель пойти небезвыгодно. Милостивые государи! милостивые государыни! не угодно ли кому предложить: у кого на примете «средствице» есть?

На вызов этот прежде всех выступил древний старичок, Опытом называемый (есть два Опыта: один порочный, а другой добродетельный; так этот — добродетельный был). И предложил он штуку: «Отыщите, говорит, такое сокровище, которое и Добродетели бы уважило, да и от Пороков было бы не прочь. И пошлите его парламентёром во вражеский лагерь».

Стали искать и, разумеется, нашли. Нашли двух бобылок: Умеренность и Аккуратность. Обе на задворках в добродетельских селениях жили, сиротский надел держали, но торговали

корчемным вином и потихоньку Пороки у себя принимали.

Однако первый блин вышел комом. Бобылки были и мало представительны, и слишком податливы, чтоб выполнить возложенную на них задачу. Едва появились они в лагере Пороков, едва начали канитель разводить: «Помаленьку-то покойнее, а потихоньку — вернее», как Пороки всем скопищем загалдели:

— Слыхали мы-ста прибаутки-то эти! давно вы с ними около нас похаживаете, да не в коня корм! Уходите с богом, бобылки, не проедайтесь!

И как бы для того, чтобы доказать Добродетелям, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд», а под утро, расходясь оттуда, поймали Воздержание и Непрелюбысотворение и поступили с ними до такой степени низко, что даже татары из «Самарканда» дивились: хорошие господа, а что делают!

Поняли тогда Добродетели, что дело это серьёзное и надо за него настоящим манером взяться.

Произросло между ними в ту пору существо среднего рода: ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку имя тоже среднего рода: Лице-

мерие…

Всё в этом существе было загадкою, начиная с происхождения. Сказывали старожилы, что однажды Смирение с Любострастием в тёмном коридоре спознались, и от этого произошёл плод. Плод этот Добродетели сообща выкормили и выпоили, а потом и в пансион к француженке Комильфо отдали. Догадку эту подтверждает и наружный вид Лицемерия, потому что хотя оно ходило не иначе, как с опущенными долу глазами, но прозорливцы не раз примечали, что по лицу его частенько пробегают любострастные тени, а поясница, при случае, даже очень нехорошо вздрагивает. Несомненно, что в этом наружном двоегласии в значительной мере был виноват пансион Комильфо. Там Лицемерие всем главным наукам выучилось: и «как по струнке ходить», и «как водой не замутить», и «как без мыла в душу влезть»; словом сказать, всему, что добродетельное житие обеспечивает. Но в то же время оно не избегло и влияния канкана, которым и стены, и воздух пансиона были пропитаны. Но, кроме того, мадам Комильфо ещё и тем подгадила, что сообщила Лицемерию подробности об его родителях. Об отце (Любострастии) сознавалась, что он был моветон и дерзкий — ко

всем щипаться лез! Об матери (Смирение) — что она хотя не имела блестящей наружности, но так мило вскрикивала, когда её щипали, что даже и не расположенные к щипанию Пороки (каковы Мздоимство, Любоначалие, Уныние и проч.) — и они не могли отказать себе в этом удовольствии.

Вот это-то среднее существо, глаза долу опускающее, но и из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее, и выбрали Добродетели, чтоб войти в переговоры с Пороками, и такой общий modus vivendi[17] изобрести, при котором и тем и другим было бы жить вольготно.

— Да ты по нашему-то умеешь ли? — вздумало было предварительно проэкзаменовать его Галантерейное Обращение.

— Я-то? — изумилось Лицемерие, — да я вот как…

И не успели Добродетели опомниться, как у Лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щёчках играет… девица, да и шабаш!

— Ишь, дошлая! ну, а по-ихнему, по-порочному… как?

Но Лицемерие даже не ответило на этот вопрос.

---

[17] Примечания: 17
Образ поведения (лат.).

В один момент оно учинило нечто, ни для кого явственно не видимое, но до такой степени достоверное, что Прозорливство только сплюнуло: «Тьфу!»

И затем все одинаково решили: написать у нотариуса Бизяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить её Лицемерию.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж: как ни горько, а пришлось у Пороков пардону просить. Идёт Лицемерие в ихний подлый вертеп и от стыда не знает, куда глаза девать. «Везде-то нынче это паскудство развелось! — жалуется оно вслух, а мысленно прибавляет: — Ах, хорошо Пороки живут!» И точно, не успело Лицемерие с версту от добродетельской резиденции отойти, как уж со всех сторон на него разливанным морем пахнуло. Смехи, да пляски, да игры — стон от веселья стоит. И город какой отменный Пороки для себя выстроили: просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами. Вот улица Лжесвидетельства, вот площадь Предательства, а вот и Срамной бульвар. Сам Отец Лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и навынос торговал.

Но как ни весело жили Пороки, как ни опытны

они были во всяких канальских делах, а увидевши Лицемерие, и они ахнули. С виду — ни дать ни взять сущая девица; но точно ли сущая — этого и сам чёрт не разберёт. Даже Отец Лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошёл, — и тот глаза вытаращил.

— Ну, — говорит, — это я об себе напрасно мечтал, будто вреднее меня на свете никого нет. Я — что! вот он, настоящий-то яд, где! Я больше нахалом норовлю — оттого меня хоть и не часто, а всё-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают; а это сокровище, коли прильнёт, — от него уж не отвертишься! Так тебя опутает, так окружит, что покуда все соки не вызудит — не выпустит!

Тем не менее, как ни велик был энтузиазм, возбуждённый Лицемерием, однако и тут без розни не обошлось. Пороки солидные (аборигены), паче всего дорожившие преданиями старины, как, например: Суемудрие, Пустомыслие, Гордость, Человеконенавистничество и проч., — не только сами не пошли навстречу Лицемерию, но и других остерегали.

— Истинный порок не нуждается в прикрытии, — говорили они, — но сам своё знамя высоко и грозно держит. Что существенно нового может

открыть нам Лицемерие, чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали? — Положительно ничего. Напротив, оно научит нас опасным изворотам и заставит нас ежели не прямо стыдиться самих себя, то, во всяком случае, показывать вид, что мы стыдимся. Caveant consules![18] До сих пор у нас было достаточно твёрдых и верных последователей, но ведь они, видя наши извороты, могут сказать: «Должно быть, и впрямь Порокам туго пришлось, коль скоро они сами от себя отрицаться должны!» И отвернутся от нас, вот увидите — отвернутся.

Так говорили заматерелые Пороки-Катоны, не признававшие ни новых веяний, ни обольщений, ни обстановок. Родившись в навозе, они предпочитали задохнуться в нём, лишь бы не отступить от староотеческих преданий.

За ними шла другая категория Пороков, которые тоже не выказали особенного энтузиазма при встрече с Лицемерием, но не потому, однако, чтобы последнее претило им, а потому, что они уже и без посредства Лицемерия состояли в секретных отношениях с Добродетелями. Сюда принадлежали: Измена, Вероломство, Преда-

---

[18] Примечания: 18
Пусть консулы будут бдительны! (лат.)

тельство, Наушничество, Ябеда и проч. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравиц, а только подмигнули глазом: милости просим!

Как бы то ни было, но торжество Лицемерия было обеспечено. Молодёжь, в лице Прелюбодеяния, Пьянства, Объедения, Распутства, Мордобития и проч., сразу созвала сходку и встретила парламентёра такими овациями, что Суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою воркотню навсегда.

— Вы только мутите всех, старые пакостники! — кричала старикам молодёжь. — Мы жить хотим, а вы уныние наводите! Мы в хрестоматию попадём (это в особенности льстило), в салонах блистать будем! нас старушки будут любить!

Словом сказать, почва для соглашения была сразу найдена, так что когда Лицемерие, возвратившись восвояси, отдало Добродетелям отчёт о своей миссии, то было единогласно признано, что всякий повод для существования Добродетелей и Пороков, как отдельных и враждебных друг другу групп, устранён навсегда. Тем не менее старую номенклатуру упразднить не решались — почём знать, может быть, и опять понадобится? — но положили употреблять её с таким расчётом, что-

бы всем было видимо, что она прикрывает собой один только прах.

С тех пор пошло между Добродетелями и Пороками гостеприимство великое. Захочет Распутство побывать в гостях у Воздержания, возьмёт под ручку Лицемерие, — и Воздержание уже издали, завидев их, приветствует:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас…

И наоборот. Захочет Воздержание у Распутства постненьким полакомиться, возьмёт под ручку Лицемерие, а у Распутства уж и двери все настежь:

— Милости просим! покорно прошу! У нас про вас…

В постные дни постненьким потчуют, в скоромные — скоромненьким. Одной рукой крестное знамение творят, другой — неистовствуют. Одно око горé возводят, другим — непрестанно вожделеют. Впервые Добродетели сладости познали, да и Пороки не остались в убытке.

Напротив, всем и каждому говорят: «Никогда у нас таких лакомств не бывало, какими теперь походя жуируем!»

А Иванушка-Дурачок и о сю пору не может понять: отчего Добродетели и Пороки так охотно

помирились на Лицемерии, тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том, что и те и другие суть «свойства» — только и всего.

Орёл-меценат



Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И стати у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полёт величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, простил.

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: ведь в самом деле красиво! Выхватил… простил! простил?! — вот что в особенности пленяло. Кого простил? — мышь! Что такое мышь?! И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: с чего же, однако, орёл «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и… простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагопо-

лучно. Во-первых, совсем не затем орёл мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орёл «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орёл, хоть архиорёл, всё-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их всё пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют.

Выискался, однако ж, орёл, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я её в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на всё согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остаётся только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой

оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать.

Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснётся — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснётся — ан касаться не только можно, но и должно. А

его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!

Дятел был скромный учёный и вёл строго уединённую жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьёзные учёные, пьёт), но целые дни сидел на сосновом суку и всё долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлёбывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорчённые сердца гармони-

ей звуков напоять… Думалось: орёл ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать…

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: доложи да доложи!

Выслушал орёл соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе, да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точёные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица малая, не стоит из-за неё клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живётся да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать

всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведёрко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: ловок орёл, а простофиля.

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орёл. Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб назавтра же был готов к состязанию с соловьём.

И вот вожделенный день наступил. Поставили

пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой лёгкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что холопское житьё лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орёл подтвердил: имянно! Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орёл подтвердил: имянно!

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орёл.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повёл, а орёл с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». — «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орёл. Акула была распутная — её за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец

владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвёл».

Но не успел дятел даже введение к свому исследованию продолбить, как уже орёл в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают… Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нём жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орёл, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял да так их явственно изложил, что орёл только и дело, что повторял: «Имянно!

имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения всё-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год вместо «Орёл» подписывался «Арёр», так что ни один солидный заимодавец векселей

с такою подписью не принимал. Но ещё большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: бб… зз… хх…, а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырёх правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусёнков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орёл не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днём больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлёк за собой кукушку. Последняя стала нашёптывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Учёный! учёный!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орёл глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: вв… зз… рррр…

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орёл.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб… кк… мм…

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп… хх… шш…

В один миг повернулся орёл к сове и разорвал её надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он, — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Всё, — отвечал орёл.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нём вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приёмы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орёл, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счётов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживём…

И в доказательство, что весь вред от наук идёт, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища…

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орёл. Просвещение прекратило течение своё.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шёпоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твёрдо: жалко им было с тёплыми казёнными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увёртки их опровергнул, спросив: да сиянсы-то зачем? И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи… Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днём молчит, а ночью спит…

Дворня опустела. Остались орёл с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нём недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (вороньё в счёт не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донёс, что

коршун по секрету читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «новейший песенник» спрятан.

Орёл смутился…

Но тут уж сама История ускорила своё течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: а что, бишь, на этот счёт в азбуке-копейке сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орёл, да не тут-то было: сладкое помещичье житьё до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок», то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе, — об этом он умолчал.

Пропала совесть



Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — всё, казалось, так и отдавалось им в руки, — им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Ещё вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбуждённому воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения,

и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял её, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял её какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за неё шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без

пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд…

Жалкому пропойцу всё его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьёт его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчёт, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянёт, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Чтó такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? — всё это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдёт и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание — да на что оно ему нужно?

затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва её?

Увы! Проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжёлые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слёзы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нём плачет вино.

— Батюшки! не могу… несносно! — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, — это горесть внезапно

обретённой совести. Она уразумела бы, что и она — настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажён взывающий перед нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь её сбыть! А то с ней пропадёшь, как собака!» — думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близь стоящий хожалый.

— Ты, брат, кажется, подбрасыванием подмётных пасквилей заниматься вздумал! — говорит он ему, грозя пальцем, — у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!

Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинёхонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.

* * *

Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел.

Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зелёные, и жёлтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомою.

«Эге! — вспомнил он, — да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.

— Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, — говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! — рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.

— А ведь куда скверно спаивать бедный народ! — шептала проснувшаяся совесть.

— Жена! Арина Ивановна! — вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»

«И за что я, через этого подлеца, в одну минуту

всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастия для бедного человека.

— Коли бы ты одну рюмочку выпил — это так! это даже пользительно! — говорил он сквозь слёзы, — а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да ещё мне, дураку, трудовые твои денежки платить!

— Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! — говорили ему изумлённые посетители.

— Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! — отвечал Прохорыч, — ты вот лучше

посмотри, какой я нынче патент себе выправил!

Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чём штука, не только не изъявляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

— Вот так патент! — не без злобы прибавлял Прохорыч.

— Что́ ж ты теперь делать будешь? — спрашивали его посетители.

— Теперича я полагаю так: остаётся мне одно — помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; что́ же мне теперича делать, кроме как помереть?

— Резон! — смеялись над ним посетители.

— Я даже так теперь думаю, — продолжал Прохорыч, — всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!

— Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча. — Ишь добродетель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и всё говорил, всё говорил.

— Потому, — говорил он, — что ежели уж с кем это несчастие случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сём мире — и больше ничего».

Таким образом в философических упражнениях прошёл целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне:

— Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!

И действительно, он, как лёг, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько

иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она переждала ночь, но как только в запылённые окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспешающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним, и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительною ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто.

* * *

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а устремительный. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли всё, что

попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого человека начало коробить.

Пришёл он на базарную площадь, и кажется ему, что всё, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках, и в лавках, — всё это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протёр он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли всё это мне представляется?» Подошёл к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошёл к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти — о, ужас! длани не простираются!

Испугался.

«Что это со мной нынче сделалось? — думает Ловец. — Ведь этаким манером, пожалуй, и напредки всё дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может быть, и пройдёт. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и всё это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!»

А мужики между тем осмелились: видя, что человек очумел, глазами на своё добро хлопает,

стали шутки шутить, стали Ловца Фофаном Фофанычем звать.

— Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! — решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждёт, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кульков принесёт?» И вдруг — ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца.

— Куда кульки девал? — спрашивает она его.

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь… — начал было Ловец.

— Где у тебя кульки, тебя спрашивают?

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь… — вновь повторил Ловец.

— Ну, так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! — решила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твёрдое. Снял он с себя пальто — и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способ-

ность глотать и загребать.

— Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! — сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нём сделалось: один, без пальто, — бесстыжий, загрёбистый и лапистый; другой, в пальто, — застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от намерения своего идти на базар не отказался. «Авось-либо, — думает, — превозмогу».

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нём потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьётся на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелёк, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги.

— Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая

ему монету.

— Это за что же, Фофан Фофаныч?

— А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради!

— Ну, бог тебя простит!

Таким образом обошёл он весь базар и роздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.

— Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, — опять сказал он сам себе, — пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем бог послал!

Сказано — сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привёл их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждёт, какую он ещё дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошёл мимо неё и ласково таково сказал:

— Вот, Федосьюшка, те самые странние люди, которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа!

Но едва успел он повесить своё пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего городу сбита! Видит и не

понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?»

— Что за народ? — выбежал он на двор в исступлении.

— Ка́к что за народ? это всё странние люди, которых ты накормить велел! — огрызнулась Ловчиха.

— Гнать их! в шею! вот так! — закричал он не своим голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперёд по комнатам и всё думал, что́ такое с ним сталось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею!

— Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! — взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу её круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, ещё и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман — нашла пустой кошелёк; обшарила другой кар-

ман — нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку — так и ахнула!

— Так вот он нынче на какие штуки пустился! — сказала она себе, — совесть в кармане завёл!

И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть, чтоб она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а ныне финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцского.

— У этого, по крайности, шея толста! — решила она, — может быть, и побьётся малое дело, а выдержит!

Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нём адрес Бржоцского и опустила в почтовый ящик.

— Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар, — сказала она мужу, воротившись домой.

* * *

Самуил Давыдыч Бржоцский сидел за обеденным столом, окружённый всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын

Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции.

— А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? — спрашивал он.

— А какой процент: простой или слозный? — спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч.

— Разумеется, папаса, слозный!

— Если слозный и с усецением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек!

— Так я, папаса, отдам!

— Отдай, мой друг, только надо благонадёзный залог брать!

С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своём задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые заимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери.

Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив.

Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях.

— И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! — завопил он, трясясь всем телом.

Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно.

Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился.

— Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов. — И если я буду спрасивать скатулку — ни-ни! пусть луци умру!

Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сде-

лать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день всё оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение.

Задумано — сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил её в другой конверт, запрятал туда ещё сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.

— Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.

— Что же-с! это похвально! — отвечал генерал, — я всегда это знал, что вы… как еврей… и по закону Давидову… Плясаше — играше… так, кажется?

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой.

— Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! — заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем облегчённый, — только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские!

— Благодарю! — сказал генерал. — Об одном сожалею… как христианин… отчего бы вам, например?.. а?..

— Васе превосходительство… мы только с виду… поверьте цести, только с виду!

— Однако?

— Васе превосходительство!

— Ну, ну, ну! Христос с вами!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали.

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел её приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от неё и хоть бы обманом, да сбыть с рук.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться.

— За что вы меня тираните! — жаловалась бедная совесть, — за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете?

— Чтó же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? — спросил, в свою очередь, мещанинишка.

— А вот что, — отвечала совесть, — отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нём! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведёт, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается.

По этому её слову всё так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нём совесть.

Растёт маленькое дитя, а вместе с ним растёт в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.